
Наталья Поньрко

Наследие древнерусской культуры в жизни и творчестве Льва Толстого

Я

позволю себе начать с цитаты.

«Ходил я на Шакшу-озеро к дѣтям по рыбу <...> и у дѣтей накладше рыбы нарту большую, и домой потащилъ маленькимъ дѣтям, послѣ Рожества Христова. И егда буду насреди дороги, изнемогъ <...>. Ни огня, ничево нѣтъ, ночь постигла. Выбилъся из силы, вспотѣл, и ноги не служатъ. Версть с восьмъ до двора <...> а тащить не могу. Потаща гоны мѣста, ноги задрожать, да и паду в лямке среди пути ниць лицом, что пьяной; и озябше, вставъ, еще попойду столько же, и паки упаду.

Бился такъ много, блиско полуночи. Скиня с себя мокрое платье, вздѣл на мокрую рубаху сухую тонкую тафтяную бѣлую шубу и взлѣз на вершину древа, уснулъ. Поваляся, пробудился, — ано все замерзло, и базлуки на ногах замерзли, шубенко тонко, и живот озябъ весь. Увы, Аввакумъ, бѣдная сиротина, яко искра огня угасаетъ и яко неплодное древо посъкаемо бывает, только смерть пришла.

Взираю на небо и на сияющия звѣзды, тамо помышляю Владыку <...>. Помышляю, лежа: „Христе, свѣте истинный, аще не ты меня от безгоднаго сего и нечаемаго времени избавишь, нѣчева мнѣ стало дѣлать, яко червь исчезаю!“

А съ согрѣяся сердце мое во мнѣ, ринулся с мѣста паки к нартѣ <...> опять потащилъ».¹

Этот фрагмент из Жития протопопа Аввакума представляется мне в чем-то главным сопоставимым с фрагментом из

¹ Житие протопопа Аввакума здесь и далее цитирую по изд.: Поньрко Н. В. Три жития — три жизни. Протопоп Аввакум, иннок Епифаний, боярыня Морозова: Тексты, статьи, комментарии. СПб., 2010. С. 45–106 (здесь — с. 101).

заключительной части «Исповеди» Льва Толстого, где описывается провидчески-символический сон автора, в котором он видит себя на хлипком ложе, висащем над бездной: «Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти <...>. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. <...> Что же делать, что же делать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: „Заметь это, это оно!“ — и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверх и чувствую, что я успокаиваюсь <...>. И вижу, что я уже не вишу и не падаю, а держусь крепко...»²

Сопоставимость этих текстов поразительна, несмотря на их очевидные жанровые различия. И там, и там вглядыванию в небеса предшествует видение между небом и землей. И там, и там обращенность вверх приносит уверенность в себе, дает силы и уничтожает страх.

Для протопопа Аввакума это не удивительно. Главное, что выносит всякий из чтения Аввакумова Жития, это состоявшееся знакомство с жизнью, прожитой в постоянном ощущении Божьего присутствия.

Но и жизнь Толстого — это тоже жизнь в постоянном ощущении Бога. Во всяком случае, — после того духовного переворота, который случился с ним в конце 70-х — начале 80-х годов и предшествовал написанию «Исповеди».

О том, что Толстой был хорошо знаком с Житием Аввакума, давно известно. Свод сохранившихся документальных свидетельств интереса Толстого к Аввакуму и его творчеству представил Е. А. Маймин в статье «Протопоп Аввакум в творчестве Л. Н. Толстого», опубликованной в 1957 г., — Толстой делал выписки из пересказа Жития Аввакума С. М. Соловьевым и из издания Жития, впервые опубликованного Н. С. Тихонравовым в 1861 г.; в письме 1878 г. он обращался к Н. Н. Страхову с просьбой прислать «Путешествие инока Парфения и попа раскольника Аввакума и раскольнического что есть, но не обработанного, а сырого материала»; учтены также высказывания Толстого по поводу выразительности языка Аввакума (в письме к П. И. Бирюкову и в воспоминаниях В. Ф. Лазурского) и запись в дневнике С. А. Толстой 1904 г. о том, что Толстой читал семейным Житием протопопа Аввакума; и, наконец, свидетельство Д. П. Маковиц-

² Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 164–165.

кого, относящееся к 1906 г.: «После обеда Лев Николаевич читал нам из Истории Соловьева про протопопа Аввакума. Во время чтения прослезился. С большим уважением и любовью говорил о нем».³

Тема «Аввакум — Толстой» традиционно рассматривается в двух аспектах: первый связан с мотивом победы над женским искушением через отсечение перста в «Отце Сергии», в чем находят параллели с эпизодом Аввакумова Жития (простертая над свечью рука Аввакума во время исповеди блудницы); а второй заключается в сопоставлении «Исповеди» Толстого с Житием Аввакума с точки зрения отражения в обоих памятниках жанровых черт исповеди-проповеди.⁴

Что касается мотива победы над женским искушением, то источники его, как для Аввакума, так и для Толстого, были детально проработаны А. Г. Гродецкой.⁵ Очевидно, что для Толстого жест Аввакума в Житии не составлял прямого источника; искомый мотив со всеми деталями развития сюжета находится в группе патериковых, проложных и житийных сказаний об отшельнике и пытавшейся соблазнить его блуднице. В «Слове о черноризце, егоже блудница не прельстивши умре, и воскреси ю, помолився Богу», помещенном в Прологе под 27 декабря, блудница, побившись об заклад с веселой компанией о том, что соблазнит праведного старца, живущего в пустыни, приходит к нему под видом заблудившейся и просит крова; проникнув в келью, она прилагает все усилия, чтобы соблазнить старца, старец же справляется с искушением, сжигая руку; в дальнейшем блудница раскаивается в своем деянии и становится на путь спасения. Схема развития сюжета в «Отце Сергии» совпадает с проложной во всех основных деталях: «разводная жена, красавица» Маковкина во время кутежа в праздной компании держит пари о том, что переночует у отца Сергия; морозной ночью она стучится к старцу под видом заблудившейся, пытается соблазнить его, но, ужаснувшись при виде отсеченного пальца инока, терпит поражение, а через год принимает постриг в монастыре.

³ См.: Маймин Е. А. Протопоп Аввакум в творчестве Л. Н. Толстого // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 501–505.

⁴ См.: Робинсон А. Н. Исповедь-проповедь: о художественности «Жития» Аввакума // Историко-филологические исследования: Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967. С. 358–370; Николаева Е. Н. О некоторых источниках «Исповеди» Льва Толстого (к вопросу об использовании в произведении традиций древнерусской литературы) // Литература Древней Руси. М., 1983. Вып. 4. С. 118–131; Панченко А. М. 1) Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 109; 2) Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 194–195; 3) Толика и культурная дистанция // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 240–242; Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000. С. 212–224.

⁵ См.: Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. С. 207–256.

Что и говорить, сюжетная схема в Житии протопopa Аввакума совсем другая. Блудница приходит к Аввакуму не для искушения его, а на исповедь.

«А егда еще былъ в попѣхъ, прииде ко мнѣ исповѣдаться дѣвица, многими грѣхми обременена, блудному дѣлу и малакии всякой повинна, нача мнѣ, плакавшеся, подробну возвѣщати во церкви, пред Евангелиемъ стоя. Аз же, треокаянный врачъ, слышавше от нея, сам разболѣвся, внутрь жгом огнемъ блудным.

И горко мне бысть в той час. Зажег три свѣщи и прилѣпилъ к налою, и возложилъ правую руку на пламя, и держаль, дондеже во мнѣ угагло злое разжежение. И отпустя дѣвицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошелъ в дом свой зѣло скорбень...».⁶

В свое время А. М. Панченко об этой ситуации из Жития Аввакума написал: «...мы можем быть уверены, что это не художественный вымысел, что это эпизод не только из его „Жития“, но также из его жизни. Такой жест был предписан авторитетными книгами, и Аввакум исполнил предписание, как пристало защитнику русской старины».⁷

В древнерусской культуре, к которой принадлежал Аввакум, господствовал принцип подобия, и потому в ее проявлениях так много архетипического. Древнерусский человек, говоря словами А. М. Панченко, «ощущал себя эхом вечности и эхом минувшего, „образом и подобием“ преждебывших персонажей мировой и русской истории. Жизненная установка на повторение и подражание в средневековой „культуре памяти“ была общепринятой ценностью. Каждый откровенно, в отличие от ренессансной и постренессансной эпохи, стремился повторить чей-то уже пройденный путь, сознательно играл уже сыгранную роль».⁸

В отличие от Жития Аввакума, герой «Отца Сергия» — это литературный герой, и архетипичность его жеста должна рассматриваться, в первую очередь, в контексте литературоведческой компаративистики, а не поведенческих архетипов культуры. В то же время мне представляется, что в «Отце Сергии» намечены контуры того поведенческого архетипа, который Толстой воплотил своей собственной судьбой, вопрос — до какой степени сознательно. О том, что эта повесть — одно из самых интимных его сочинений, много написано. Она писалась долго, с перерывами, с начала 1890 г., в течение более чем десятилетия, и так и не была закончена и не публиковалась при жизни автора. Герой повести Касатский наделен чертами самого Толстого, об этом тоже много сказано. И потому уход Сергия-Касатского в конце повести как итог жизни героя — это тот уход, который Толстой приготавливал для самого себя, мучительно нащупывая в течение более чем десяти лет нужный ему исход сюжета.

⁶ Цитирую по: *Понырко Н. В.* Три жития — три жизни. С. 51.

⁷ *Панченко А. М.* Смех как зрелище. С. 109.

⁸ Там же. С. 108.

Следует обратить внимание на то, что уход Сергия-Касатского наделен определенными чертами юродственного ухода: он уходит из обжитого им мира и делается скитальцем «на чужой стороне», становится безымянным «человеком Божиим» (людям, спрашивающим у него, кто он таков, он не называет своего имени, а отвечает лишь: «Раб Божий»). О подобных особенностях юродственного поведения мне приходилось писать в статье, посвященной галицкому юродивому XVII века Стефану Нечаеву: бравшему на себя подвиг юродства человеку важно было при этом удалиться из родных мест, уйти «на чужую землю», туда, где его никто не знал, стать таким же неузнанным безымянным странником, как Алексей Человек Божий.⁹ В свое время мне удалось обнаружить и опубликовать ряд сочинений юродивого Стефана и тем самым разрушить сложившееся представление о том, что юродство и писательство — вещи несовместимые (этого взгляда придерживался покойный А. М. Панченко): современник протопopa Аввакума юродивый Стефан был не только автором посланий и покаянных стихов, но и сочинителем знаменных роспевов.¹⁰

Перед уходом в юродство Стефан написал пространное послание матери и жене (частично в форме диалога), из которого видно, как трудно было близким примириться с его уходом.

«И аз, братие, пожих в покоех мира сего и во всех сладостех его, — и ничтоже приобретох. И разумех, яко льстив есть мир сей. Аще кто весь мир приобрящет, душу же свою отщетит, ничтоже есть <...>.

Вопрос: Почто еси оскорбил родителей своих, паче же, мать свою рождѣшую, и жену, младу сущу, оставил еси? Писано есть, аще кто оставит отца или мать, жену и дети в беде сущих, а сам покоя ищет, проклят есть <...>.

Ответ: Вем, яко есть оставляю их Богу <...>.

Почто еси в мире с нами не терпел скорбей и напастей?» и т. д.¹¹

Ситуация, описанная в процитированных строках письма юродивого Стефана, заставляет нас вспомнить об уходе Толстого в 1910 г., его последнем письме к жене Софье Андреевне Толстой и о реакции близких на этот уход.

⁹ См.: *Понырко Н. В.* Автор стихов покаянных и роспевщик юродивый Стефан // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 220–230.

¹⁰ См.: *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 205–213; *Понырко Н. В.* 1) Автор стихов покаянных и роспевщик юродивый Стефан. С. 220–230; 2) Стихи покаянные галицкого юродивого XVII в. Стефана // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 596–600. Юродивый Стефан был уроженцем города Галича (Костромского), откуда ушел, покинув свою жену и родителей, и долгие годы юродствовал «на чужой стороне», не подавая вести близким. Он скончался в 1667 г. (дата рождения неизвестна) и был похоронен под трапезной церкви Богоявления галичского посада, где сам себе «гроб ископа».

¹¹ *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. С. 207–208.

Для юродивого Стефана прощание с семьей, представленное в дошедшем до нас послании, было не первым. Как явствует из контекста того же послания, он уже однажды уходил юродствовать, но вернулся, не выдержав угроз своей матери покончить с собой.

«Вопрос: Почто еси прежде сего отшел от нас, — и вспять прииде к нам и мнил, яко мир любиши, и жену поял еси?»

Ответ: Аще бы не за скорбь матери своя, — прочтох от нея писанную хартию, яко болезнует вельми; глаголют же, яко и ума изступити ей, и сама ся хочет убиством смерти предати, — убоаяся, яко простоты ради погубит себе, и послушах ея. Приидох к вам и жену поях, утешая ея <...>.

Вопрос: О, превозлюбленный мой сыне и свете очей наших, почто скрываешия от нас <...> а сам грядеши, не вем камо?»¹²

Здесь можно усмотреть еще одно поразительное сближение! Мы знаем о первой попытке ухода Толстого и о его первом письме Софье Андреевне от 8 июля 1897 г., не переданном тогда жене, но сохраненном Толстым и по его воле отданном ей после его смерти («...как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью»).¹³ Знаем мы и о суицидальных попытках жены Толстого в моменты его уходов.

В «Отце Сергии» прославленный подвижник старец Сергий так продумывал вариант своего исчезновения-ухода: «Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают...».¹⁴ Сесть в поезд, ехать в нем до какой-нибудь станции, а там сойти и, пойдя пешком по России, раствориться в народе, — жизнь показала, что этот вариант Толстой чуть было не воплотил своей судьбою. Только сойти на станции, чтобы дальше идти пешком, не удалось. Смерть оборвала замысел.

И тут мы видим последнее сближение в судьбах галицкого юродивого Стефана и Льва Толстого. Обратимся к документам XVII века. «Сей святой Стефан <...> преставися в лета от сотворения мира 7175 году, а от Рождества Христова 1667 году, мая в 13 день, на память святых мученицы Гликерии <...>. Погребение было мая в 14 день на память святого мученика Исидора <...>. При погребении были галицких монастырей архимандриты: Новоезерского монастыря Авраамиева архимандрит Христофор, Паисейна монастыря архимандрит Сергий, Галицкой соборной церкви Спасской протопоп Феофилакт з братиею и всего града Галича священницы и

¹² Там же. С. 208–209.

¹³ Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1984. Т. 19/20. С. 401.

¹⁴ Там же. М., 1982. Т. 12. С. 367.

диаконы. От мирских чинов — галицкой воевода Артемей Антонович сын Мусин-Пушкин да галицкой же преждебывшей воевода стольник Кондратей Афанасьев сын Загрязской; дворяне: Давыд Неплюев, Иван Ларионов и иные дворяне и дети боярские, и многия посацкия и уездныя люди з женами и з детьми. <...> Оный блаженный Стефан был человек убогий, а на погребение его стеклося множество именитых людей».¹⁵

Излишне комментировать, в чем здесь усматривается общность: похороны Толстого были беспрецедентным событием по числу стекшихся на них представителей разных сословий тогдашней России.

И вот, возникает вопрос. Откуда эти, говоря словами Пушкина, странные сближения? Ведь ничего о юродивом Стефане, его сочинениях и его поведении Толстой не знал и не мог знать. В случае с галицким юродивым XVII века Стефаном, и каким бы то ни было другим юродивым, у Толстого не могло быть сознательного стремления — вспомним тезис А. М. Панченко — повторить чужой «уже пройденный путь, сыграть уже сыгранную роль». На мой взгляд, здесь следует говорить о неких принципах поведения, которые, составляя основу культурного архетипа нации, тем более стойки, чем бессознательнее и непроизвольнее осуществляется в них тенденция к подобию.

Осознававшая себя эхом вечности древнерусская культура была, в первую очередь, «культурой подобию» и «культурой памяти». Культура же Нового времени в России — это «культура прогресса», отбросившая как ненадобные большинство аксиом и принципов допетровской Руси. Но в том-то и дело, что ненадобными эти принципы были не для всей России. Никоновские реформы, а вслед за ними реформы Петра I, разделили русский народ, по меткому замечанию В. П. Рябушинского, на два народа: «барина» и «мужика»,¹⁶ каждого со своей культурой, неведомой и непонятной другому «народу». При этом господствующей и претендующей на универсальность стала, конечно же, культура «барина». Культура же «мужика», не замечаемая и презираемая «баринством», преемственно продолжала существовать в русских «низах», где читали тиражируемое в рукописях Житие протопопа Аввакума («открытием» оно сделалось в середине XIX в. лишь для «барина»), где странствовали и продолжали ощущать себя эхом вечности калики перехожие и юродивые, живущие в постоянном ощущении Божьего присутствия.

Мне представляется, если мыслить в этих категориях, что духовный переворот Толстого совершился в свете осознанного им наличия двух

¹⁵ Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. С. 212–213.

¹⁶ См.: Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство / Сост., вступ. статья и коммент. В. В. Нехотина, В. Н. Анисимовой, М. Л. Гринберга. М., 2010. С. 51.

разных «народов» в российской действительности, с признанием нравственной правоты «народа-мужика», живущего своим трудом и вместе с Богом. После этого переворота Толстой своими писаниями и своей деятельностью, публичной и частной, как мне представляется, стремился разрушить границу между двумя «народами». И как ни грандиозна была задача, ему это в чем-то удалось, во всяком случае, на личном уровне. Об этом говорит среди прочего и органичное усвоение им юродственного архетипа поведения в том, что было связано с его «уходом».

Среди поздних рассказов Льва Николаевича Толстого есть один, под названием «Разговор с прохожим» (с авторской пометой: 9 сентября 1909, Крекшино). Ранним утром два старика идут навстречу друг другу, один из них Лев Толстой. Точнее, идет один Толстой (с радостью на душе от красоты мира, с серьезными и простыми мыслями о смерти), а другой — «крестьянин, бородатый, косматый, с проседью, здоровенный, простое рабочее лицо» (второй Лев Толстой по внешности, — не правда ли?) — стоит на дороге. Завязавшийся между ними доброжелательный разговор заканчивается словами Толстого: «...лучше о душе подумать». В ответ Толстой встречает в мужике полное понимание: «Верно это, старичок. Верно ты говоришь. Об душе первое дело. Первое дело об душе <...>. — И лицо его стало еще добрее и серьезнее. Я хотел продолжать разговор, но к горлу что-то подступило (я очень слаб стал на слезы), не мог больше говорить, простился с ним и с радостным, умиленным чувством, глотая слезы, отошел».¹⁷

В этой зарисовке мы как будто видим два «народа» на пути друг к другу — и осознаем личный подвиг Толстого в преодолении этого пути.

 ¹⁷ Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1983. Т. 14. С. 306–307.